

Глава I

На рассвете

«Башня древнего английского собора! Как может быть здесь башня древнего английского собора? Знакомая, массивная, серая, четырехугольная башня старого собора! Откуда она здесь взялась? И какая-то ржавая железная игла — прямо перед башней... Но на самом деле ее нет! С какой стороны ни взглянешь, не видно ржавой железной иглы. Что же это за игла, стоящая теперь между глазом зрителя и башней, и кто ее здесь поставил? Может быть, это просто обычный кол, водруженный по приказанию султана для того, чтобы посадить на него, одного за другим, целую шайку турецких разбойников? Должно быть, так и есть: вот бьют в бубны, гремят цимбалы — и султан во главе длинного торжественного шествия выходит из дворца. Десять тысяч секир блестят при солнечном свете, и тридцать тысяч танцовщиц устилают землю цветами. Потом следуют белые слоны, огромные, в пополах, разукрашенных всеми цветами радуги; им нет числа, как и окружающим их придворным — слугам и провожатым. Все же башня древнего английского собора возвышается где-то на заднем плане, где ее быть никак не может, и на страшном колу не видно никакого жуткого, извивающегося в муках тела. Погодите! Неужели эта игла — всего-навсего самый обыкновенный предмет: заржавленное остроконечье одного из столбиков старой, развалившейся кровати?» Полусонный смех раздается сквозь эти догадки и размышления.



Человек, в рассеянном, медленно восстанавливаемом сознании которого переплелись такие фантастические видения, будто выплывает из их хаоса, приподнимается, дрожа всем телом, и оглядывается вокруг себя. Он находится в дрянной и душной жалкой маленькой комнатухе с нищенской обстановкой. Сквозь ветхую, дырявую занавесь окна проникает свет раннего утра, мерцающий над грязным захудалым двориком. Он одетым лежит поперек на большой, уродливой, осевшей под тяжестью кровати. На этой же кровати, также одетые, поперек лежат матрос с китайского корабля, ласкар (матрос-индус) и худая испитая женщина. Первые двое спят — а может, это не сон, а какое-то оцепенение — или находятся в забытьи; женщина раздувает нечто вроде маленькой, странного вида трубки, очевидно, пытаясь ее раскурить. Раздуваемый ею и полуприкрытый ее исхудалой рукой уголек освещает, будто крошечная лампа, эту несчастную фигуру в окружающем полумраке, и становится видно ее лицо.

— Другую? — спрашивает женщина глухим, жалобным шепотом. — Хотите другую, дать вам еще? — Он смотрит вокруг себя, прижимая руку к голове. — Вы уже выкурили пять, а пришли в полночь, — продолжала женщина тем же хриплым, жалобным голосом. — Горюшко мне, горе! Бедная я, бедная, голова-то у меня болит, совсем стала плоха! Те двое пришли уже после вас. Просто беда, горюшко, дела плохи, хуже некуда, торговля падает. Мало в доках матросов из Китая, забредет разве какой, еще меньше ласкаров, а они говорят, что никаких новых кораблей в приходе нет и не ожидается! Вот тебе, голубчик, трубочка готова. Помни только, добрая душа, что теперь цена на рынке чертовски высокая. За такой вот наперсток — три шиллинга шесть пенсов, а то и больше сдерут! И знай, голубчик, что никто, кроме меня (и Джека-китайца на той

стороне двора, но где там ему до меня) не знает секрета этого состава, только я одна знаю, как смешивать! Ты, голубчик, и заплатишь как следует, подороже, не правда ли?

Говоря это, она продолжает раздувать трубку, а то и сама затягивается, при этом вдыхая в себя значительное количество содержимого.

— Батюшки, легкие-то мои стали плохи, грудь у меня слабая, больная! Погоди, голубчик, уже почти готово. Ах, горюшко, рука-то моя сердечная так и дрожит, точно хочет отвалиться! А я вижу, как ты просыпаешься, и уж говорю себе: я приготовлю ему трубочку, а он-то знает, какой дорогой сейчас опиум, и хорошо, как следует, заплатит мне за него. Головушка моя бедная! Ты видишь, голубчик, я трубки свои делаю из старых чернильных склянок, крошечных, как эта, по пенни штука. Потом прикреплю к ней мундштук и, взяв состав этой роговой ложечкой из этого наперстка, наполняю тебе трубочку, вот все и готово. Только вот нервы мои никуда не годятся. Я прежде шестнадцать лет пила черт знает какие настойки, а потом за это взялась, и вот это мне почти не вредит. А если и вредит, то чуть-чуть. Не стоит и толковать о таком ничтожном вреде! Зато, голубчик, это глушит голод, дает забвение, да и на еде экономия.

С этими словами она подает ему почти пустую трубку и падает на постель, повернувшись лицом вниз.

Он, шатаясь, встает с кровати, кладет трубку на печку и, отдернув рваную занавеску, с отвращением смотрит на лежащих людей. Он замечает, что женщина до того накурилась опиума, что стала странно походить на лежавшего рядом с ней китайца. Формы его щек, глаз и лба, его цвет лица — все повторяется в ней. Китаец судорожно дергается — борется, быть может, с одним из своих многочисленных богов или дьяволов — и злобно скалит зубы, страшно рыча. Ласкар смеется, и слюни текут по его



губам. Женщина теперь лежит не двигаясь, молча, будто спит.

— Какие она может видеть сны? — спрашивает себя проснувшийся человек, сверху вниз вглядываясь в лицо женщины, затем поворачивает к себе ее голову. — Что может ей представляться? Что за видения перед ней? Множество мясных лавок и кабаков и большой кредит там? О чем она может мечтать? Об увеличении числа ее несчастных покупателей, о том, чтобы починить эту отвратительную кровать или вымести этот грязный двор, избавившись от зловонной помойки? Разве какое бы то ни было количество опиума даст возможность подняться до чего-нибудь высшего? Что?

И он нагибается, чтобы расслышать ее невнятный шепот.

— Ничего не понятно!

Он смотрит, как ее время от времени подбрасывает во сне; следит за судорожными движениями, искажающими порой ее лицо и тело — так от быстрых молний иногда ночью содрогается темное небо, — и вдруг чувствует какое-то заразительное желание ей подражать; он невольно опускается в старое облезлое кресло у печки, поставленное, быть может, для таких случаев, и тихо сидит, пока не умирается пробудившийся в нем злой дух подражания. Потом он возвращается к кровати, обеими руками хватая китайца за горло и грубо поворачивает его лицом к себе. Китаец сопротивляется, пытается отодрать его руки, мычит, протестует.

— Что, что вы говорите?

Молчание длится с минуту.

— Нет, непонятно!

Медленно выпустив из рук китайца, к невянтому мычанию которого он тщетно прислушивается, проснувшийся человек оборачивается к ласкару и стаскивает его на

пол. Ласкар, упав, приподнимается, сверкает глазами, делает яростные жесты, размахивает во все стороны руками и старается выхватить из-за пояса нож, которого там нет. Тогда становится очевидным, что женщина заранее, ради безопасности, отобрала и спрятала этот нож; она теперь тоже вскакивает и пытается удержать и уговорить ласкара; когда же они снова бесчувственно падают на пол, нож виднеется не у него, а у нее под одеждой.

При этом становится очень шумно, но в крике ничего нельзя разобрать. Если и слышатся какие-то внятные слова, то в них нет никакого смысла и связи. Поэтому зритель этой сцены, качая головой, только повторяет с мрачной улыбкой:

— Ничего не понятно! — Он произносит это с усмешкой, удовлетворенно кивнув головой. Потом он кладет на стол горсть серебряных монет, находит свою шляпу, спускается, шатаясь, по сломанным деревянным ступенькам, здоровается с привратником, воюющим с крысами в темном углу под лестницей, и выходит на улицу.

После полудня того же дня бледный, изнуренный пешеход подходит к массивной серой башне старинного собора; колокола звонят к вечерне и, вероятно, он обязан был присутствовать на службе, поэтому, ускоряя шаги, торопится войти в дверь собора. Подойдя к певчим, поспешно надевавшим свой белый несвежий официальный наряд, он достает свой и, сделав то же, следует за выходящей из ризницы процессией. Пономарь запирает решетчатую дверку, отделяющую алтарь от клироса, певчие занимают свои места и склоняют головы, закрыв лица руками. Через минуту слова торжественного гимна «Помилуй мя, Боже», как грозные отголоски грома небесного, раздались под старыми мрачными сводами собора.